## На Секирной горе в скиту Савватия Соловецкого

# Сергей Снегов

Мы изнемогали. Свежий воздух переставал радовать, в нем дыхание моря и леса заглушалось едким потом наших обессиленных лет. Многие, добредя до площадки будущего аэродрома, сразу валились на песок — только брань майора Владимирова и угроза монастырского карцера заставляли подниматься на ноги. Некоторых на обратном пути в соловецкий кремль тащили соседи по ряду, без помощи они не могли передвигаться. Как-то вечером старый большевик Ян Витос присел ко мне на нары и пожаловался:

— Знаете, Сережа, раньше было изречение: отдать богу душу. И вот мне кажется, я душу кому-то отдал, возможно, правда, не богу, а дьяволу. Дьявол сегодня пересилил бога. И, уже лишенный души, еще ползаю по земле — не знаю, не понимаю, не чувствую, кто я, куда иду, почему стою, зачем стараюсь ковырять лопатой песок... Я еще живой, но уже умер, такое странное состояние, когда без души...

Я не знал, что отвечать на горестное признание Яна Витоса, ему недавно перевалило за пятьдесят, он виделся мне старцем. И хоть сам я был измучен до того, что после работы даже громко говорить не мог, только шептал, я страдал за Витоса, он был вдвое старше меня, наверно, ему доставалось больше моего.

А мой новый сосед с другой стороны нар, мужиковатый по виду Рощин, до революции учитель латыни в гимназии, совмещавший эту профессию с подпольной революционной работой, утешал Яна Витоса таким мрачным утешением, что слышалось оно хуже приговора:

— Не дрейфь, Ян! Помни — нет такого положения, чтобы хуже его не было. Наверх высоко не взобраться, наверху пустота, вакуум, в общем, ничто. А бездна безгранична. Мы все сегодня доплелись до камеры. Не уверен, что завтра удастся. Зачем же мне терзаться сегодня, если завтра будет хуже? Я поберегу огорчение на завтра. Из тебя не душа ушла, а дух ослабел, Ян. Чтобы поднять твой поникший дух, прочту тебе и Сергею одну из эклог Вергилия, очень толковая вещица — действует лучше лекарства.

И, откинув голову на вонючую соломенную подушку, Рощин звучно скандировал древнего поэта, то возвышая, то утишая голос. И хотя я не понимал ни слова, чтение было так выразительно, что я примысливал себе яркие картины встреч и разлук, страстей и печалей, признаний в любви и проклятий.

— Рощин в нескольких предварительных фразах известил нас, о чем трактует эклога. Витос знал латынь еще меньше моего, он пришел в революцию крестьянским парнем, служил в отрядах чека, дослужился до сотрудника самого Дзержинского, исправно искореняя контрреволюцию, не нашел времени хотя бы на нынешнее среднее образование, не говоря о классическом. Зато он говорил «интеллигентней» латиниста Рощина, тот, озорник и любитель хлесткого словечка, матерился столь изощренно, что меня подмывало записать и запомнить удивительные выражения, только ни карандаша, ни бумаги не было, а голова не вмещала всего, на что горазд был бывший учитель гимназии, подпольщик-большевик, ныне террорист и шпион, продавший по случаю японцам Сибирь за тысячу иен, а Россию с Украиной немцам за пару сотен марок — что-то вроде этих цифр Рощин хладнокровно называл, когда спрашивали о его преступлениях.

Страстные буколики Вергилия и на меня, и на Витоса, хоть мы не поняли в них ни слова, произвели то самое действие, какое пообещал Рощин, — мы отходили душой и телом.

— Ты ученый, — с уважением сказал Витос. — Верно, что ты самому Бухарину ставил плохую оценку по латинскому?

Рощин смеялся. Нет, оценок не было.Бухарин у него не учился. Но как-то они сидели в президиуме одного собрания и Николай Иванович написал реплику по-латыни в ответ на чье-то выступление и переслал ее Рощину. Реплика была остроумная, но две ошибки в латыни пришлось подчеркнуть, Бухарин потом сокрушенно качал головой.

— Значит, завтра может быть хуже? — сказал я, — Что будет хуже?

Рощин сказал, что нас куда-то отправляют, ждут пароходов из Архангельска, так ему объяснили знакомые из Соловецкого лагеря. Лагерь в стороне от тюрьмы, но лагерные работают и в тюрьме на подсобках, он уже встречался со многими. Соловки очищаются от заключенных, здесь планируют военное поселение. Администрация, пока нас не увезли, торопится закончить аэродром, но строительство еле идет. Ходит слух среди лагерников: Скачков, комендант тюрьмы и лагеря, сказал, что виной тайный саботаж части заключенных, их надо выискать и наказать.

— А как наказать? — допытывался я. — И разве не ясно, что мы после трех лет тюрьмы вконец обессилели?

— Все ясно, — Рощин равнодушно зевнул, — Но ведь и аэродром надо закончить, пока мы еще здесь. Думаю, часть заключенных для одушевления остальных срочно подведут под новый срок, саботаж легко навесить каждому доходяге, а кое-кому влепят и вышку — как было в прошлом году на Секирке. Скит святого Савватия, зачинателя Соловецкого монастыря, отлично приспособлен для расстрелов — без суда и следствия, просто ткнут в тебя пальцем — и приговор! Я оборотился к Витосу:

— Ян Карлович, вы старый чекист, возможны ли такие дела?

Он пожал плечами:

— Крайности... Но с другой стороны... Рощин правильно припомнил Секирку. Вы ведь слышали, что там.

— Да, я слышал о расстрелах на Секирной горе. Лагерники рассказали нам, тюремным зекам, когда мы вышли из камер на строительство аэродрома, что происходило в ските Савватия. Весной прошлого года в Соловках появилась комиссия, затребовала личные дела заключенных в тюрьме и лагере, отобрала больше четырехсот человек. И однажды утром всех отобранных вывели на площадь, построили, пересчитали, посадили на машины и повезли на Секирную гору. А там всех расстреляли. Лагерники копали могилу, они многих расстрелянных знали, и потом удивлялись, по каким признакам отбирали на казнь: больше всего, конечно, было политической «пятьдесят восьмой», но и бандитов из «пятьдесят девятой» прихватили, попадались и бытовики-малосрочники, которым до воли оставалось всего ничего. «Для счета брали, привезла комиссия контрольную цифру в командировку на тот свет, и хватали, чья фамилия приглянулась, выполняли план». Об одном лагернике говорили, что его тоже отобрали на Секирку, но по ошибке «замели» однофамильца, когда дознались, что расстреляли другого, махнули рукой — живи, парень, раз пощастило, операция закончилась.

...Должен отвлечься. Впоследствии я узнал, что комиссии по расстрелу заключенных весной 1938 года появлялись во всех лагерях и, наверно, во всех тюрьмах. И везде квота расстрелов фиксировалась заранее — видимо, из центра, а для выполнения «плана» выбили, бывших оппозиционеров, и обвиненных в терроре, шпионаже и уголовников, и даже бытовиков и священников, и просто ослабевших, и «отказчиков» от работы — этих комиссии подсовывала администрация, чтобы избавиться от нежеланного контингента. «Пятьдесят восьмой» все же даровалась особая привилегия на расстрел, их было всего больше. В Норильске, где я прожил 18 лет, весной 1938 года было расстреляно около 500 лагерников, в основном — политические. Один из попавших в списки на расстрел, Мурахтанов, рассказывал мне, как избежал казни:

— Расстрелы уже шли по сотне, по полторы в сутки, ну, мы, натурально, тревожились в бараках — кого завтра вызовут? Я-то не психовал, всего пять лет дали, уже три отсидел, да и геолог, нужная специальность, зачем им я? А вечером нарядчик говорит: «Я сегодня — приказали — твое дело отобрал, так что завтра тебе на луну — готовься». В эту же ночь, в ранний развод я дернул из Норильска. Тундру я знаю хорошо, из припасов взял только сухари и сахар, и алло на восток. А в горах Путорана запутался среди болот и снежников. Дней через десять меня отыскала погоня с собачками. Ну, навесили тумаков, рожу раскровенили и притащили назад. А здесь уже никаких казней, расстрельная комиссия улетела обратно, только суд за бегство восстановил уже отсиженный срок — снова пять лет вместо оставшихся двух. Так я спас себе жизнь за небольшую плату — три дополнительных лагерных года.

Я впоследствии прикидывал, сколько же казней без суда и следствия совершилось среди отбывавших срок заключения в ту страшную весну 1938 года, вскоре после суда над «правотроцкистским блоком» Бухарина, Рыкова и других. Если сохранить всюду то же соотношение, что в Соловках и Норильске, между числом заключенных, оставшихся в тюрьмах и лагерях, и выдернутых из них на казнь, то получается, что около 500—700 тысяч заключенных в течение одного-двух месяцев, без нового суда, без официального приговора, без права обжалования, даже без предварительного извещения, были внезапно выведены из мест заключения и расстреляны. Раньше говорили, что политика — искусство мыслить миллионами. Для Сталина казни меньше миллиона людей казались недостойными его размаха Знаменитая пирамида из черепов, наваленных Тамерланом, предстает крохотной кучкой костей рядом с горами голов, вознесенных сталинскими палачами по его приказу.

...Слухи о том, что готовится наказание нерадивым, быстро обрастали убедительными подробностями. Лагерники передавали нам, что из Кеми на пароходе (Соловецкий лагерь особого назначения) прибыло новое подразделение стрелков с оружием — к чему бы? И своих вохровцев на Соловках хватало, не иначе особое задание, что-то вроде спецотряда. Эти терзали нас, мы лезли из кожи, чтобы выполнять производственную норму, но прыгнуть выше головы не могли. Как-то я с ужасом убедился, что поднять лом еще способен и держу его не роняя, но бить им по каменистому грунту, чтобы выковырять оттуда небольшой валун, уже не в состоянии. «Дохожу», — с горестью подумал я о себе. Всего несколько лет назад, до ареста, я встречал жену на улице и нес ее на руках на третий этаж, перепрыгивая через две ступеньки — а она все же весила больше десятка ломов, — куда же подевалась сила, которой я гордился? Может быть, это тюремное словечко «дохожу» математически точно формулирует оставшийся отрезок жизненного пути? Но мне еще нет тридцати, разве это конец жизни? И я пересиливал себя, остервенело бил и ломом, и киркой вокруг валуна, но все же не высвобождал его из гнезда, в коем он покоился ровно десять тысяч лет, с последнего оледенения, так разъяснил мне знавший все на свете Хандомиров. Мы с ним изнемогали на пару вокруг этого треклятого валуна.

А затем произошло то, чего с таким страхом ожидали. Утром никого не вызвали на развод на монастырскую площадь. В камерах скрипели двери, лязгали запорные железные полосы и замки. Тюремные надзиратели со списками в руках отбирали из камер внесенных в списки и переводили в другие камеры. Из нашей вывели троих — Рощина, Витоса и меня. Новая камера, бывшее монастырское служебное помещение, вмещала человек двадцать. Рощин вытянулся на койке и бодро объявил:

— Итак, на работу сегодня не пойдем. Люблю понежить косточки перед новым этапом.

— Даже если этап на луну? — сьязвил Витос.

— На луне, Ян, еще не бывал, но надежды не теряю, — отозвался Рощин.

— И думаю, даже в небытие лучше проникать отдохнувшим, а не обессиленным. Недаром Ювенал умолял, чтобы mens sana in corpore sano, то есть чтобы в здоровом теле оставался здоровый дух.

Лишь в полдень начался вывод заключенных на стройплощадку. Нас, отобранных, не вызывали из камер. И мы, не видя — на окнах висели щиты-«намордники» — слышали гул развода: полторы тысячи человек шумели на площади — наверно, допытывались один у другого, куда подевались отобранные. Зато после обеда нас повели на прогулку. Всего, так я прикинул, отобрали человек сто. Прогулка была необыкновенной — не пять или десять минут, как все месяцы до того, а минут тридцать, у меня замлели ноги от долгого хождения по монастырской площади. И хоть шли мы строем по четыре в ряд, два стрелка, конвоировавшие нас, не кричали, чтобы не сбивали шаг, не нарушали равнения, не переговаривались. И мы, шагая вдоль угрюмых стен Преображенского собора, понемногу из строя превратились в толпу и уже не приглушали голосов, а свободно перекрикивались из конца в конец. А два наших стрелка соединились с третьим чужим и мирно курили, поглядывая, не пытается ли кто слишком близко подобраться к запретным воротам наружу. Но мы к ним не приближались, ворота открывались только во время развода.

Скоро мы поняли, откуда взялся третий стрелок. У стены впереди нас прогуливался одинокий заключенный, его опекал этот третий стрелок. Заключенный хромал, еле плелся. Наш превратившийся в кучку строй догнал его и на время прикрыл — стрелка это не волновало, он понимал, что «спецзаключенный», так мы мигом окрестили его, никуда не денется. Рощин быстро сказал мне и Витосу:

— Я знаю его. Прикройте меня, хочу с ним поговорить.

Мы сбавили шаг, другие тоже замедлили движение Несколько минут Рощин беседовал со «спецзаключенным», потом мы снова разошлись — он остался позади, мы вышли вперед.

— Я с ним встречался на воле, — сказал нам Рощин в камере. — На одном из московских открытых процессов он показал, что, работая в торгпредстве в Берлине, устроил тайную встречу Троцкого с Пятаковым в маленьком курортном городке. А Троцкий на параллельном процессе за рубежом предъявил документы, что в это время находился на пароходе, отвозившем его в Мексику, и, стало быть, тайные его свидания с Пятаковым в Европе — враки. Моего приятеля, — Рощин назвал известную фамилию, после процесса в Москве дополнительно к сроку физически обработали — был красавец, здоровяк, стал инвалидом. А чем он виноват? Свидание надо было приурочить к заграничной командировке Пятакова, а эксперты НКВД не позаботились точно выяснить, где тогда находился сам Троцкий. Одно хорошо — не расстреляли его, как Пятакова и других. Хоть и инвалид, но живой.

Вероятно, этот разговор Рощина со своим знакомым был первым известием для нас, сидевших в закрытых тюрьмах с 1936 года, что московские процессы вызывают за рубежом сомнения и противодействие. Впрочем, на нашей судьбе это отразиться не могло, после самого крупного из процессов — 1938 года — и последовавших за ним расстрелов в тюрьмах и лагерях наступило некоторое послабление. Даже кормить стали если не лучше, то чуть больше. Гнев тюремного начальства, на наш неэффективный труд был важнее, чем промахи прокуроров на недавних процессах. Что нас ждет завтра? Зачем нас сконцентрировали в отдельных камерах? Почему не отправили на работы, как всю остальную тюрьму? Ответ на эти вопросы тревожил даже ироника Рощина, взволнованного неожиданной встречей со старым знакомым.

Следующее утро дало ответ.

И в это утро все камеры оставались закрытыми, ни из одной не вывели на работу. На площади перед Преображенским собором вдруг раздались голоса охраны, грохот машин и лай собак. Во всех камерах заключенные кинулись к окнам. Деревянные «намордники» снаружи решеток закрывали видимость, но все знали, как в экстремальных случаях преодолеть это затруднение: двое заключенных склонялись в пояс у стены, самый высокий камерник вскакивал на их спины — какой-то клочок двора всегда удавалось разглядеть, если охранник с вышки не грозил выстрелами тому, кто чуть выше «намордника» показывал лицо. В это утро на вышках каменело спокойствие, стрелков не волновало, что в камерах нарушается режим. Будь день обычным, уже гремели бы выстрелы по окнам, и не один «намордник» продырявили бы пули, и не одно стекло разлетелось вдребезги. Необычность дня, мы это сразу поняли, заключалась не в том, что на площади шумела охрана, гудели машины и заливались псы, все это, хоть и не такое грохотное, совершалось и раньше. Необычным было то, что нам не мешали увидеть совершавшееся на площади. Во всех камерах поверх щитов появлялись лица заключенных — с площади и с вышек ни одному не командовали убраться, выглядывание над щитами заранее программировалось важной частью разыгрываемой сцены. Начальник тюрьмы, капитан госбезопасности Скачков, переведенный недавно из Москвы на Соловки, был мастер ставить впечатляющие спектакли (по слухам, какой-то спектакль ему не удался, почему его и убрали из элитной Лубянки в провинциальный, хоть по-своему и знаменитый Соловецкий лагерь особого назначения).

В нашей камере дылда «впередсмотрящий» только взволнованно оповестил нас, что на дворе «тьма попок и машин, псов тоже хватает», как двери распахнулись и дежурные велели собираться с вещами. Мы торопливо хватали свой тюремный скарб, напяливали зимнюю одежду — летней не выдавали, — совали в мешки, что не надевалось и не запихивалось в карманы, и становились у двери, готовые на выход — не на работу, на работу с вещами не вызывают, а в новое существование или несуществование, как кому воображалась обстановка.

— По двое! — приказал выводящий, и мы зашагали по длинному монастырскому коридору.

На площади уже стояли человек двадцать, вызванных раньше нас, мы построились за ними. За нами становились другие заключенные, все, как и мы, с вещами — на этап, а не на работу, это было уже несомненно. Нам не объявляли куда, а спрашивать было бесполезно, вопросы на разводах не только воспрещались, но и наказывались.

Мы сами, по признакам, видным каждому опытному заключенному, старались установить, куда же нас увозят. Признаки складывались в нехорошую картину Монастырскую площадь уставили грузовики, я насчитал их с десяток. Грузовики вытягивались в линию — на первом, на последнем и двух средних сидела на скамьях охрана с винтовками, человек по десяти в каждом, а на переднем и последнем еще стояло по пулемету, на переднем дулом назад, на заднем дулом вперед. В каждой машине с охраной бесновались псы — рослые, рыже-черные немецкие овчарки, их еще не переименовали в среднерусскую породу. Но характер был тот же — хорошей выучки злоба, готовность каждого, на кого укажут, валить на землю, впиваться в горло, молчаливо, самозабвенно калечить. Псы нервничали, они предчувствовали важное дело и терзались от нетерпения показать, как прекрасно обучены. Их яростный лай, который не могли либо не хотели запретить поводыри, разносился по замершей в ожидании площади.

Между машинами с охраной размещались по два пустых грузовика. Мы знали, что они предназначены для нас, и ждали приказа садиться. Приказа долго не поступало. В тюрьме, над «намордниками», в нас впивались десятки глаз оставшихся в камерах товарищей. Рошин громко проговорил:

— А вот у Данте в адских картинах собачки не использованы, а ведь как усиливают пейзаж! Стоны мучеников, по-моему, не так впечатляют, как страстный лай этих добрых хвостатых созданий, готовых каждого растерзать.

Я пробормотал, что у чертей тоже хвосты, а мстительно вопить, терзая грешников, они умеют не хуже псов. Рощин вытянул шею, осмотрелся и уверенно предсказал:

— Первое действие идет к концу, скоро опустится занавес. Я вижу его благородие капитана Скачкова, а рядом, естественно, бравого майора Владимирова. Майор уже натуживается, наливается кровью, сейчас завопит: «Все на машины! Шаг вправо, шаг влево, пеняй на родную мать, что родила!»

Но я не видел ни Скачкова, ни Владимирова. Приказ на машины отдал начальник конвоя, он был из незнакомых. Машины заполнялись не сразу, а поочередно. Я полез во вторую, Рощин был вдвое старше меня, но расторопней, он успел в первую. Я подсобил Витосу, он — уже из машины — помог вскарабкаться мне. Когда грузовики набились, тот же незнакомый начальник скомандовал: «Всем садиться на пол!» Это было еще трудней, чем лезть с земли на высокую платформу — скамей в наших машинах не было. Я как-то ухитрился положить под себя мешок с вещами и вжаться спиной в угол платформы, но ноги убирать было некуда и на них уселся бывший экономист Ян Ходзинский, он был, по его же определению, «мелкого тела» и соответственно веса. Другой Ян — Витос — мощно жал спиной мое плечо, но я не огрызался, ему было хуже, на нем чуть не лежал здоровый верзила.

Когда последнюю машину заполнили и на площади не осталось заключенных, раздалась новая команда и стрелки на своих машинах торопливо сняли с плеч винтовки и наставили их на наши грузовики. Щелканье затворов добрую минуту поглощало все иные шумы на площади, его не могли не слышать и в камерах, где жадно ловили все звуки за окнами. Ворота раскрылись, и первая машина с пулеметом дулом на нас пошла наружу. Колонна грузовиков за воротами на какую-то минуту замерла. Оставшиеся на земле охранники суетились, проверяя напоследок запоры платформ и все ли сидят как приказано — на задах, а не на корточках, охрана не терпела «корточкового» сидения, оно давало лишь видимость неподвижности, оставляя нехорошую возможность мгновенно вскочить и броситься в бег. Витос с тоской сказал мне и Ходзинскому:

— Теперь — куда повернут? Если направо, то в порт грузиться на пароход. Если налево, то Секирная гора — и шансов никаких!

Ходзинский резонно возразил:

— Если бы в порт, то везли бы без пулеметов и без большой охраны.

Передняя машина повернула налево, за ней все остальные, кто-то горестно вздохнул на платформе:

— Секирка!

Я хорошо понимал, что у всех заключенных — и на нашей машине и на той, что шла впереди, и на тех, что, следовали позади, — возникла одна мысль: нас везут на расстрел, как всего лишь год назад повезли и расстреляли на Секирной вчетверо больше, чем нас сегодня, таких же заключенных тюрьмы и лагеря. И я допускал даже, что оснований расправиться с нами больше, чем с теми, прошлогодними. Тех вытаскивали из камер, где они сидели смирные, бессловесные, покорно выполняющие все предписания сурового режима, их карали без новой тюремной вины. А нас объединили общей виной, мы плохо работали, нам легко предъявить саботаж. Как опровергнуть его? Заявить, что обессилели? Но тюремные врачи установили, что мы здоровы и трудоспособны, кому поверят — им, своим, или нам? Обвинение всегда сильней оправдания, каждый из нас это знал.

И я, как все в грузовике, понимал, что занавес опускается, нет больше шансов на спасение. Но если покорной мыслью я постигал, что рок сильней меня и обстоятельства складываются трагически, то всеми чувствами, всеми клеточками тела, всей своей молодостью протестовал против того, что предвещала мысль, все во мне безмолвно надрывалось — не за что, невозможно, не будет! Я даже почувствовал досаду от того, что не верю грозной очевидности и не впадаю в отчаяние, как надо бы по логике. Чтобы убедить самого себя, что логика и надо мной властна, я сосредоточенно, сочинял предсмертные стихи, твердо зная, что если кто из соседей от меня их и услышит, то никто не прочтет, меня они не переживут. Стихи получились плохие, сразу забылись, только две последние строчки остались в памяти, в них было какое-то утешительное самообещание:

Я плохо жил, но я умру достойно —

Без плача, без проклятий, без мольбы.

Закончив со стихами, я стал разглядывать товарищей в машине и обнаружил, что, хотя все думали об одном, внешне вели себя очень по-разному. Один пожилой мужчина, я его лица не видел, прислонил голову к кабине водителя, плечи его тряслись, — наверно, беззвучно плакал. Трое его соседей тихо переговаривались, один из них улыбался — правда, довольно хмуро. Большинство просто молчало, двое заснули, приткнувшись к соседям. Ян Ходзинский фальшиво напевал «У самовара я и моя Маша». Я и на воле не выносил оскорбительно-примитивного мотивчика и бездарного текста этой самой популярной песенки середины тридцатых годов и попросил Яна «сменить пластинку». Он охотно затянул что-то другое, в заунывном пении повторялся рефрен: «Я наелся, как бык, сам не знаю, как быть». Мрачней всех выглядел Ян Витос. Я что-то ему сказал, он не ответил. Я оставил его в покое и стал разглядывать дорогу.

Мы мчались в великолепном лесу. Он каждые полсотни метров преображался — купки берез сменялись соснами, в сосны вторгались дубы и ясени, мрачная ольха переходила в мрачные ельники, и снова возникали сияющие березняки. Весна на соловецком севере очень долгая, еще не полностью перешла в лето, и лес — молодые нарядные деревья — и смотрелся, и шумел на ветру по-весеннему. Я дышал жадно и полно, все было хорошо в этом лесу — и облик его, и источаемый им аромат. Грудь не могла надышаться, глаза не могли насмотреться. Зосима и Савватий, отцы соловецкие, понимали Бога. Великий Пан, лохматый дух земли и травы, воздуха и небес, безраздельно царствовал в местечке, какое они выбрали для скита.

А затем показался и сам скит. Меньше всего он походил на те убогие строения, какими рисовались древние монашеские скиты во многочисленных пустынях. На холме высилось здание маяка, неподалеку жилой дом, по виду — возведенная еще в прошлом веке монастырская гостиница, ныне переоборудованная в тюрьму. Грузовики с заключенными въезжали внутрь ограды, машины с вооруженной охраной оставались снаружи. Только бесившиеся собаки — им приказали спрыгнуть на землю — нарушали торжественный покой ампирного монастырского убежища. Мы выстроились во дворике, нас разбивали на мелкие группы, разводили группы по камерам. Здесь не было огромных помещений, как в главных корпусах монастыря, одиночные комнатки бывшей гостиницы вмещали не больше трех-пяти нар. В камере, куда я попал, из знакомых был только Витос, даже лиц двоих других не помню. Витос невесело сказал мне:

— Отдохнем перед последним этапом, — и растянулся на нарах.

— Ужасно есть хочется, — пожаловался я.

Мне всегда хотелось есть, а в это утро нам к тому же не выдали завтрака. Даже грозное упоминание о последнем этапе не утишило голода. Я тоже лег на нары и попытался уснуть, сон в какой-то мере компенсировал нехватку еды. В тюрьме нам не разрешалось спать днем, за непослушание могли и прогулки лишить, и отправить в карцер. Там, в моей ставшей чуть ли не любимой камере No 254, я приучился спать, демонстрируя усердное чтение: лежа на нарах — это разрешалось, — водружал на грудь книжку и, прикрывая ею лицо, мирно дремал. Здесь книг не было, но и не прозвучало запрета спать. Я заснул, только опустил голову на соломенную подушку.

Меня разбудил толчок в плечо. Надо мной стоял дежурный вохровец.

— Бери еду! — приказал он и протянул железную миску таких огромных размеров, что в ней могли поместиться пять полных супных тарелок.

Я жадно схватил миску. В огромную миску плеснули на донышко черпачок каши, зато это было наше любимое тюремное блюдо — чечевица. Я чуть не проскреб донышко, отдирая от эмали коричневые следы проглоченных зернышек. Лучше было бы вылизать миску, но на это я не осмелился и только со вздохом сказал Витосу:

— Некогда праотец наш косматый зверолов Исав продал свое право первородца брату-близнецу Иакову. Исава все кляли за этот легкомысленный поступок. Но я поступил бы как он. Чечевица лучше, чем первородство, если ее наложат в миску вдоволь.

— Плохой признак — много еды, — ответил Витос. — Такие привилегии даются знаете кому?

— Знаю, Ян Карлович. Возможно, вы правы. Но я не доспал. После еды хорошо вздремнуть.

Спать, однако, не пришлось. Снова отворились двери — и дежурный вызвал на прогулку. Все камеры были растворены, отовсюду выходили на дворик. Он был гораздо меньше монастырского, не для прогулки сразу ста человек, мы построились в колонну и зашагали вдоль стен. Два стрелочника — по обычаю, впереди и позади колонны — сперва следили за порядком, потом порядок им надоел, они отошли от нас. Мы еще пошагали без команды, стали останавливаться, сбиваться в кучки, прислоняться к стенам. Такой прогулки мы еще не знали — вольной толкотни, вольной болтовни, возможности безмятежно постоять, даже прикрыть глаза, наслаждаясь глубоким вдохом и выдохом.

На Савватии, видимо, у стрелков отсутствовали часы — и двадцать законных прогулочных минут прошли, и полчаса, и к часу, по ощущению, приближалась необыкновенная прогулка, а потом пошло и на второй час. Нас стала тревожить такая вольность, мы переглядывались — что случилось? Не готовят ли нам сюрпризы в камерах и потому задерживают во дворе? Стрелки подали команду уходить. Мы повалили в тюрьму, радуясь благополучному возвращению с прогулки не меньше, чем радовались самой прогулке. Витос шел подавленный и молчаливый, я догадывался, что неожиданные послабления режима его пугают Я привык верить его объяснениям, но в меня все больше внедрялось сомнение — не слишком ли он все рисует черной краской? Почему людей, с которыми хотят ни за что ни про что расправиться, надо предварительно ублажить едой посытней и дать подышать свежим воздухом подольше? Витос говорил, что такова тюремная практика во всем мире. Практика была нелогична, я отказывался ее понимать.

Вечером нам внесли ужин — все ту же благословенную чечевицу, правда, пожиже, чем в обед. У меня и у двух наших соседей поднялось настроение. Сытным ужином нас еще никогда не радовали, обычно хватало кружки подслащенного чая и хлеба, сэкономленного в обед.

— Мне кажется, нас не будут наказывать, Ян Карлович, — высказал я свои сомнения. — Зачем тогда большая прогулка и усиленное питание? И, наверно, объявили бы заранее приговор.

— Зато Секирная гора, — возразил он. — Местечко известное. А приговор объявляется, если суд. В прошлом году ничего не объявляли тем, кого привезли сюда. Вывели в лес — и пули в голову у выкопанной канавы. Это известно от лагерников, которые рыли и заваливали канавы. Суда не было, Сережа, была расправа. И вина у нас есть, не стройте себе иллюзий — работали мы плохо, норм не выполняли...

Я все же продолжал тешить себя иллюзиями. Впервые за несколько лет мой желудок не напоминал о себе голодным бурчанием, не ныл о пище. Меня потянуло в сон, я вытянулся рядом с Витосом. Не знаю, сколько я проспал, но пробудился сразу и вскочил. Произошло что-то ужасное, оттого так внезапно прервался сон. В камере надрывно храпели двое соседей, Витос сидел на корточках у двери, вдавливая ухо в замочную скважину. Я кинулся к нему, он сделал знак молчать. Я воротился на нары, у меня кружилась голова, сердце гулко било в ребра, вдруг стало тошнить. Витос отошел от двери. Он успел привязаться ко мне и понял, что мне плохо.

— Выпейте, Сережа, — сказал он, протягивая кружку, он всегда запасал в ней на ночь немного воды.

— Что случилось? Неужели выводят? — Я говорил с трудом, зубы стучали о кружку.

— Не знаю. Из соседней камеры кого-то позвали.

— В самом деле позвали?

— Плохо слышно... Мне не понравился разговор дежурных. Их двое, один настаивал, что с этим делом надо кончать, а с каким делом — не разобрал. Они о нехорошем говорили...

— Ян Карлович! — горячо сказал я. Дрожь оставила меня, испуг прошел — я снова владел голосом, — Дорогой Ян Карлович, вы же старый чекист! Вы же знали самого Дзержинского! Для вас нет тайн в вашем бывшем учреждении, вы и сейчас в нем, хоть и не в кабинете, а в камере. Почему же вы дали себе так распуститься? Почему такие страхи? Я столько читал о благородстве руководителей Чека... А у вас получается — банда, у которой одни преступления...

Негасимая тюремная лампочка хорошо освещала его лицо. Он жалел меня. Он готов был посмеяться над моей наивностью, но не хотел чрезмерно пугать. На лице его появилась вымученная улыбка.

— Сережа, вы правы, старые чекисты были благородны, я знал их, сам был таким. Но ведь как мы понимали это слово — благородство? Защита революции — вот было наше благородство. И ради защиты ее готовы были на все, вы понимаете — на все!.. Вы даже представить себе не можете, что мы могли совершить, если того требовала революция! Ничто не останавливало!.. Победа революции — высшее благо, смысл той нашей жизни!

— Но ведь есть и правда, и справедливость, и совесть, — разве они...

Он презрительно махнул рукой, отбрасывая мои слова, как пущенные в него игрушечные шары.

— Интересы дела — вот единственная правда. Целесообразность, а не какие-то там... Вам этого не понять, вы другое поколение. Вас удивляет мой страх! Он оттого, что я запутался, в чем сегодня интерес и целесообразность. И я лучше вас понимаю, где мы находимся. Здесь все возможно! И все заранее оправданно. Спите, спите, Сережа! Возможно, выживем — и тогда впереди у вас целая жизнь, незачем ее заранее портить трудными мыслями. А мне пора собирать камни, столько их набросал в прошлой жизни! Хватит завалить большую общую могилу, не только мой личный маленький холмик. Выпейте еще воды, Сережа, вы очень бледны — и на нары!

Он тоже лег и больше не ходил выслушивать шумы за дверью. Я думал о нем и о себе, и о том, что это за философская категория «целесообразность», так властно отменившая выстраданные историей правду, совесть и справедливость. Целесообразность — для чего? Для кого? Почему моя маленькая жизнь стала кому-то нецелесообразной? Я никому не делал зла. Почему же кто-то мстит мне, творит мне зло, только зло, одно зло? Древний, всегда печальный, мудрый Екклезиаст, ты говорил, что есть пора разбрасывать и пора собирать камни. Угораздило же меня попасть в пору жестокого камнепада! Ох, сколько их набросали, с каким рвением продолжают бросать! Один камешек швырнул меня наземь. Может, прав Витос — и уже летит второй, потяжелее, — и прямо в голову!

Утром завтрак был так же обилен, как и в первый день. Застарелой жажды есть он полностью не утолил, но и не раздразнил аппетита, я даже оставил на потом не четвертушку дневной пайки хлеба, а больше половины.

А после завтрака в коридоре послышались команды, лязгали замки. Из соседних камер выводили заключенных. Шум продолжался недолго, выведенные ушли. Мертвая тишина окостенила тюрьму.

— Первую партию увели, — скорбно сказал Витос, — Следующие — мы.

Прошло минут десять, и раскрылась наша дверь. Вошел корпусной с двумя дежурными.

— Собирайтесь на прогулку, — сказал корпусной.

— С вещами? — спросил я.

— На прогулку, я сказал.

Он нехорошо улыбнулся. Я понял значение его ухмылки. Один за другим мы выходили из камеры. В коридоре присоединялись к нам другие заключенные. На площади нас построили по четыре — человек двадцать, незначительная часть того этапа, что прибыл из монастыря. Кто-то вслух сообщил, что всех сразу вести опасно, может вспыхнуть бунт, а по частям, небольшими партиями — целесообразней. Проклятое это словечко «целесообразность» набрасывалось на меня как взбесившийся пес. Я знал бешеных собак, одна покусала меня в детстве, месяц потом меня ежедневно кололи. От слова «целесообразность» брызгала вонючая пена, как из пасти того пса, что повалил меня на землю и загрыз бы, если бы подбежавший красноармейский командир не выпустил в него всю обойму своего маузера. Витос был прав, он томил себя не пустыми страхами, а предвидел грозное будущее. Сегодня это будущее станет настоящим. Лишь одно смутно удивило меня. Конвой был маловат для двадцати человек, собранных на последний этап: два стрелка с винтовками, третий с револьвером и собакой. Собака злобно оглядывала нас, но агрессивности не показывала, на это, видимо, не было ей приказа.

— Передний, шагом! — приказал старший конвоир. Мы выбрались из ограды, зашагали по лесной дороге. Кто-то горестно прошептал:

— На то самое место!

Мы и без расспросов понимали, какое место подразумевалось. Теперь я всерьез уверился, что иду последнюю в жизни прогулку. Это надо было отметить чем-нибудь, схожим с завещанием. Я оглядывался. Мир был хмур и неприветлив. Солнце пряталось за кронами берез и сосен, вплотную окаймлявшими дорогу. Ветер слегка покачивал листву, деревья шумели протяжно и невесело. В стороне свинцово блеснуло озерко, на холмиках зло алели факелы кипрея. Во мне складывалось торжественное прощание с миром, печальное предвосхищение неотвратимых событий. Я тихо бормотал новосотворенные строки:

Я жду несчастья. Дни мои пусты.

Мне жизнь несла кнуты, а не приветы.

И вот опять — земля, вода, листы

Слагаются в зловещие приметы.

Стихи мне понравились. Это было неожиданно. Я не любил своих стихов. Созданные, они были всегда хуже тех, какие задумывались. Я временами приходил в отчаяние от неумения ярко выразить на бумаге — или в устном чтении — то, что бурлило, звенело, надрывалось и пело во мне. Несвершенность была главным, что я ощущал в себе. Сегодня свершилось — строчки точно описывали мою последнюю прогулку. Мне даже стало легче на душе, хотя ничего хорошего впереди не открывалось.

Открылась обширная полянка. Старший конвоир скомандовал:

— Привал! Полчаса отдыхайте. Можно гулять по опушке. В лес уходить запрещаю.

Мы дружно повалились на землю. Я уткнулся лицом в пожухлую траву. От нее исходил томный аромат, я не дышал им, а глотал его. Ко мне подошел Ян Ходзинский с двумя роскошными стеблями кипрея.

— Зачем рвал? Ведь заберут! — сказал я с упреком Мне стало жаль двух сияющих розовых пирамидок, на земле они были красивей, чем в руках.

— Может, не заберут. Ты заметил? В Савватии другой режим, чем в Соловецком монастыре. Между прочим, в лесу масса голубики. Я уже поел и хочу опять. Пойдем.

— В лес ведь запрещено, — сказал я с опаской.

— Да ведь около опушки, не в глубине. И стрелки не смотрят за нами. Один вообще заснул.

Двое стрелков мирно курили в стороне, у ног одного дремала собака. Третий завалился в траву. Мы с Яном пошли в лес. Голубики и вправду было много. Попадалась и брусника, и даже морошка, но за ними надо было идти подальше — я побоялся. Мы набрели на холмик, синий от ягод. Я рвал и поглощал сочную, немного терпкую голубику, пока не стало невмоготу. Ходзинский ушел раньше и лежал в траве. Я поискал глазами Витоса, он сидел на другой стороне полянки, там светило солнце. Пересекать всю полянку было лень, я выбрал место помягче, снова воткнулся в траву и задремал. Меня пробудила команда конвоира:

— Строиться по четыре! Быстро, быстро!

Мы строились вяло. Не я один успел поспать, после сна нас разморило. С момента как мы вышли на поляну, солнце пересекло дорогу и теперь садилось в противоположной стороне леса. Не меньше трех часов провели в лесу, прикинул я.

— У тебя вся рожа синяя от ягод, — со смехом сказал Ходзинский, пристраиваясь ко мне в ряд.

У него тоже синели губы. Он к тому же набрал ягод в карманы бушлата, а за пазуху сунул, чтобы не отобрали, и увядающие стебли кипрея. Стрелки видели, что он прячет, но промолчали. Мы тронулись в обратный путь «шажком и перевалочкой». Стрелки и сами не торопились и не понукали нас: передний, задававший шаг, словно забыл, что за ним колонна заключенных, и остановился, закуривая папиросу. Мы тоже с охотой постояли. Рядом со вторым стрелком бежала собака, она не помахивала хвостом, это ей было запрещено по службе, но и не оскаливалась на нас. Третий стрелок пропал где-то позади и не подавал голоса, потом в камере я вспомнил об этом и запоздало удивился — задние стрелки всего больше кричали и грозно командовали не отставать, не оглядываться, не нарушать равнение в ряду.

— Какая прогулка! — восторженно сказал я Витосу, усевшись на нары. — И ведь не было, чего мы боялись!

Витос выглядел озадаченным. Я рассердился. Неужели его не радует, что день прошел хорошо? Нам разрешили поваляться в траве, а не поставили к стенке. Как можно в такой день быть недовольным?

Он улыбнулся. Он был доволен.

— Все же я не понимаю, зачем нас привезли сюда. И это меня продолжает тревожить. Подождем, что будет завтра.

Завтра было то же, что в этот день. Был поздний подъем, была отменная чечевичная похлебка с куском вонючей соленой трески, была прогулка в лес, где мы снова нажрались голубики — слова «поели до отвала» и «накушались всласть», тем более невыразительное «угостились» решительно не подходили. И надышались вкусного воздуха, и подставляли бледные лица северному нежаркому солнцу, а ночью не по-тюремному крепко спали. И даже Ян Витос перестал вставать с нар и выслушивать у дверей по разговорам охраны в коридорах, что ждет нас впереди.

Так продолжалось дней десять, а потом прибыли пустые грузовики, мы погрузились в кузова и воротились в монастырь. И везли нас обратно без пулеметов, с обычной охраной в десяток стрелков, даже одной машины они не заполнили. И оравы собак, готовых ринуться и терзать, уже не было — так, две-три собачки, больше для видимости охраны.

В монастыре к нам кинулись изумленные товарищи. Меня крепко обнял Хандомиров.

— Черти полосатые, как нас надули!-восторженно кричал он. — Нам же говорили, что вы в штрафных изоляторах и еще неизвестно, выйдете ли оттуда. И сидите на гарантийном пайке — кус хлеба и кружка кипятка в сутки! И грозили, что и нас туда же, если заволыним. Ох, как мы вкалывали, как надрывались! Секирная же гора — скорей повалиться замертво, чем туда! А вы там щеки набирали, брюхо отращивали! Дом отдыха вам устроили!

Дома отдыха на Секирной горе нам, конечно, не устроили, щек мы не набрали, брюха не отрастили. Но уже и не шатались от изнеможения. И лом для моих рук снова стал железной рабочей палкой, а не неподъемной тяжестью. И, наверно, рядом с теми, кто оставался в монастыре, выглядели если и не упитанней, то, по крайней мере, не столь бледными и истощенными.

Хандомиров в прежней нашей камере, куда меня и Витоса вернули, дал рациональное объяснение происшествию на Секирной горе.

— Скачков, ребята, устроил блестящий спектакль. Собрал сотню доходяг и отправил вас на поправку, а нам растолковали, что вы ждете суда за саботаж и нам такой же суд грозит, если не выложимся. И две тысячи зеков вкалывали до опупения! А что вас подкормили, а не расстреляли, хоть это было бы еще проще Скачкову, так причиной тому великие «преимущества» нашего социалистического строя. Все у нас совершается по плану, имеется план и в тюрьме. В прошлом году в Соловки спустили контрольные цифры на отстрел — выполнили, получили благодарность и премию. В этом году надо направить на строительство столько-то голов — попробуй Скачков недосчитаться сотни, нагоняй за срыв плана! Мы теперь числимся в программе выдачи, он плановую цифру блюдет. А куда плановая выдача налево или в руки другого конвоя, ему безразлично. Им командует целесообразность, а не мораль. Знает, знает за что сегодня получать премию!

Опять прозвучала эта формула «целесообразность»! Даже Витос согласился, что искал целесообразности на Секирной горе не там, где она таилась.